

## ОБ ОДНОЙ ЭТИКО-ФИЛОСОФСКОЙ ПРЕДПОСЫЛКЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕКА У ПОЗДНЕГО ДОСТОЕВСКОГО

В. СЕРДЮЧЕНКО

Читатель «Братьев Карамазовых» помнит неожиданный и хаотичный монолог, который «необразованный поручик» Дмитрий Карамазов обрушивает в присутствии Алеши на «презренных бернардов». Что связывает этого скотопригоньевского Франца Моора, буяна и «невежду» с автором «философской антропологии» Клодом Бернаром? Помимо Бернара, мы находим у Достоевского имена Боткина, Бюхнера, Вагнера, Льюиса, Молешотта, Фогга и т. д. Хотя ученые фамилии эти произносятся лишь вскользь, а сугубый академизм, исходящий от них, кажется мало вяжущимся с инфернальной стихией его произведений, представляется небезынтересным выяснить причины их появления на художественных страницах писателя.

Известно, что Клод Бернар был ученым, предпринявшим в 19 в. попытку перевести вопрос о человеческой сущности на рельсы строгого рационалистического знания, придать ему характер естественнонаучной проблемы. Митенька потому и произносил «бернары», что одним Клодом Бернаром это новое направление в антропологии 19 в. не исчерпывалось. Рядом возникают антропологические концепции немецких естественников, дарвинизм и как его реакционная разновидность социальный дарвинизм, «статистическая» антропология Кетле, учение Ломброзо и пр. Явственно намечается тенденция перенести открытия биологической антропологии в антропологию социальную, применить их для анализа социальных аспектов жизни человека и общества.

В свете сказанного монолог, вложенный Достоевским в уста Карамазова, приобретает более широкое и принципиальное содержание. Действительным объектом Митенькиного негодования оказывается не отдельное и случайное ученое имя, а определенная традиция в общественной мысли домарксовской эпохи.

Задача данной статьи состоит в том, чтобы, уточнив более подробно суть и истоки этой традиции, выяснить затем, как она отражалась в проблематике последних романов писателя.

Борьба Достоевского с материалистическим подходом к человеку освещена в нашем достоевведении достаточно полно. Работы М. Гуса, В. Ермилова, Г. Фридлендера и, особенно, вышедшая недавно моногра-

фия В. Кирпотина «Достоевский в 60-е годы» дают подробное перечисление материалистических идей эпохи, в борьбе с которыми формировался религиозный полюс человековедческой проблематики Достоевского. Однако, что касается участия в этой проблематике утверждений современной писателю науки, то об этом говорится лишь мимоходом и в основном в связи с «Преступлением и наказанием». Так, Г. Фридлендер, а вслед за ним В. Этов упоминают в числе реальных адресов, против которых направлялись обличающие стрелы романа, сочинения Вагнера, Льюиса и Кетле<sup>1</sup>. Но подлинные масштабы «антинаучной» темы в идейно-художественном наследии писателя намного шире, а ее содержание, как было сказано, далеко выходит за рамки конкретной критики того или иного учения. Строго говоря, именно естественная наука оказывается другим, крайним полюсом антропологической проблематики писателя. Образ старца Макара Долгорукого, смотрящего в «стекло», мог бы послужить в этом смысле символическим примером: тот тип познания, за который Достоевский сильнее всего ратует, как бы сталкивается здесь с той его формой, которую он непримиримее всего отрицает.

Как известно, корни естественнонаучного направления в антропологии были заложены еще в эпоху Возрождения. Наука, перестав быть впервые «служанкой церкви» (К. Маркс), почти полностью переходит в этот период с метафизических на материалистические рельсы знания. Первые же ее шаги на этом новом пути приносили ей ошеломляющие открытия, мир и природа представляли в космическом многообразии неизвестных до того сил и свойств, по сравнению с чем проблемы богословия казались догмами безжизненного суемыслия. Материя — вот что становится новым объектом и новым богом науки. То, что в учениях церкви считалось дьявольским хаосом, химерой, на самом деле оказывалось носителем гармонического порядка и стройных закономерностей. Куда бы ни обращала свой взгляд освобожденная наука, она всюду наталкивалась на эти всепроникающие законы материи — и в конце концов она без должных оговорок распространила их и на человека. Если человек в средневековых учениях представал порождением бесплотного духа, то здесь он во многом превратился в бездуховную материю, так же подчиняющуюся основным законам механики и притяжения, как и другие ее формы. По сути дела, изъав человека из метафизической системы, наука того времени продолжала применять к нему метафизический метод, что приводило к крайностям уже материалистического порядка. Излюбленными науками 18 в. становятся математика и механика, и восхищение теми возможностями, которые открывались в них человеческому разуму, было так велико, что их методология, принципы анализа были полностью перенесены и в другие области челове-

<sup>1</sup> См. Г. М. Фридлендер. Реализм Достоевского. Издат. «Наука», М.—Л., 1964; В. И. Этов. Достоевский. Издат. «Прозвещение», М., 1968.

ческого познания, в том числе и в антропологию. Так, не успев высвободиться из-под гнета богословия, антропология подпала под чрезмерную власть естествознания. В период, именуемый картезианским, естественнонаучное и антропологическое направления находились в неразрывном слиянии, что было одновременно и хорошо и плохо, так как антропологическое знание, не успевая переваривать в своем философском тигле тех сведений, которые во все возрастающем количестве поставляла ему наука, вынуждена была пользоваться методами, заимствованными из естествознания, и если средневековая антропология все сводила к определениям человеческого «духа», то картезианство слишком многое в нем пыталось объяснить физическими законами его «плоти». Гоббс, например, все, в том числе и духовные проявления человека, включая и его мышление, ставил в зависимость от телесных отправлениях, от шести органов чувств, а в конечном итоге — от движения мельчайших частиц вещества. Подобный же подход к духовной жизни человека, независимо, приравнивалась ли она, или противопоставлялась (Декарт) его материальной жизни, был характерен и для других картезианцев.

Следующее отличие новой антропологии от средневековья состояло в том, что она переносила проблему человека из области **этики** в область **психики**. И это также объясняется особенностями ее рационалистического, наивно-материалистического метода. Нравственность, несомненно, более тонкий предмет, чем психология. Образно говоря, нравственное и идеологическое начало — это высшее, уникальное достижение природы, область, совершенно недоступная тому уровню знания, какое демонстрировала научная и философская мысль 17—18 вв. Поэтому картезианцы как бы бессознательно искали в проблеме человека такой аспект, который хоть в какой-то мере допускал бы применение излюбленных ими методов исследования. Этим аспектом как раз и была **психология**, ибо, уходя одним своим концом в физиологию, она позволяла толковать определенные ее свойства в духе физического детерминизма. Но материалисты 18 в. не понимали, что физиологическая основа формирует психологию лишь наполовину и что высшие формы человеческой деятельности восходят уже к таким, находящимся вне физиологической сферы проявлениям личности, как идеология и нравственность, и создаются уже на базе общественных отношений человека.

Что же касается этих последних сторон жизни, то здесь философия того времени была почти бессильна.

Можно представить, какое отношение должен был вызвать у Достоевского такой подход к проблеме человека, особенно если учесть, что картезианские антропологические воззрения через столетие были снова возрождены немецкими естествоиспытателями Бюхнером, Мотешоттом и Фоггом. Достоевский вынужден был относиться к ним как к реальным идеям, находящимся в духовном обиходе современности.

К тому же идеи эти во времена Достоевского стали обретать определенную публицистическую окраску, а занятиям естественными науками начали придавать гуманитарное и общественное значение. Возникает своего рода мода на естественнонаучный подход ко всем проблемам жизни, в кругах и кружках передовой интеллигенции на какое-то время становится весьма популярным тип ученого-рационалиста, строгого и бесстрастного адепта научной истины.

«В шестидесятые годы благоговение к естествознанию распространилось в огромном кругу русского общества и носило особый характер (разрядка наша — В. С.)... Каждый правозерный шестидесятник должен был все свои способности отдавать естествознанию. Эта мода подчинила тогда такое множество интеллигентных людей, что нередко талантливые музыканты, художники, певцы и артисты забрасывали искусство ради изучения естественных наук и вместе с другими бегали на ботанические, зоологические и другие экскурсии, работали с микроскопом, определяли тщательно собираемые камешки, — все были заинтересованы великим значением естествоведения... Сразу явилось немало лиц, как из высших, так и из средних классов общества, желавших заняться естественными науками. Каждое семейство, у которого в доме была свободная комната, охотно уступало ее вечером для подобных занятий: тут демонстрировали бычье сердце, резали лягушек и зайцев, изучали и сравнивали устройство зубов различных животных, строение тела птиц и рыб, рассматривали под микроскопом растения, насекомых, кусочки сыра, капли воды. Все эти чтения и занятия, где бы они ни устраивались, привлекали массу народа»<sup>2</sup>.

Призыв «идти в науку» делается на какое-то время в среде ищущей гражданского подвига молодежи не менее популярным, чем призыв восьмидесятых годов «идти в народ». Наиболее популярным учебным заведением тех лет становится Петербургская медико-хирургическая академия, где занятия медициной выливаются в обсуждение естественнонаучной и, шире, философской антропологии. Профессиональные ученые начинают широко приглашаться на страницы прессы, где они излагают общественные аспекты своих открытий. Так, К. Тимирязев протестует против попыток «направить положительную науку в узкоутилитарное ложе для того, чтобы разрешение более широких запросов сделать монополией представителей совершенно иного склада мышления... Но... появляются немногие, видящие в прикладном направлении науки как бы высшее оправдание ее. Они выступают во имя социальной правды»<sup>3</sup>. Этими, выступающими за науку «во имя социальной прав-

<sup>2</sup> Е. Н. Водовозова. На заре жизни. Госиздат, М., 1964, т. 2, стр. 89, 90, 91.

<sup>3</sup> К. А. Тимирязев. Сочинения, Сельхозгиз, М., 1938, стр. 26. (Цит. по кн. П. Г. Пустовойта «Роман «Отцы и дети» и идейная борьба 60-х годов 19 века», изд. МГУ, М., 1965, стр. 222).

ды», становятся революционные демократы, критики публицисты Добролюбов, Чернышевский, Д. Писарев, В. Зайцев, Н. Шелгунов. Откладывая в сторону перо литературного критика, чтобы воздать должное какому-нибудь очередному открытию отечественного или зарубежного ученого, они ищут в этих открытиях не просто научной пользы. В науке, так же, как и в литературе и в искусстве, их интересует прежде всего их общественная ценность. Во-первых, в популяризации точных наук, научного мышления они находят воплощение своих просветительских идеалов. «В науке, и только в ней одной,— пишет, например, Писарев,— заключается та сила, которая, независимо от исторических событий, может разбудить общественное мнение»<sup>4</sup>. И далее он высказывается в этом же просветительском духе еще резче: «Уж если Павел Петрович Кирсанов не утерпел, чтобы не взглянуть на инфузорию..., то молодежь и подавно не утерпит. А только этого и надо. Тут-то именно, в самой лягушке-то и заключается спасение и обновление русского народа. Ей-богу, читатель, я не шучу и не потешаю вас парадоксами»<sup>5</sup>.

Но, во-вторых, наряду с этой чисто просветительской стороной, демократическая мысль того времени пытается приспособить принципы и методы естественных наук для анализа общественных явлений, социальных проблем человеческой личности.

Эта социологизация, идеологизация, гуманизация науки, независимо от того, предпринималась ли она с благими или реакционными намерениями (социальный дарвинизм, мальтузианство, теория Ломброзо), принимает в 60-е годы такой размах, что широким потоком выливается на страницы литературно-критических журналов<sup>6</sup>.

<sup>4</sup> Д. И. Писарев. Сочинения в 4-х т., Госиздат, М., 1956, т. 3, стр. 126.

<sup>5</sup> Там же, т. 2, стр. 392.

<sup>6</sup> Вот, например, названия лишь некоторых статей, опубликованных в эти годы в русской периодике: Н. Чернышевский «Антропологический принцип в философии». «Современник», 1860, № 4, 5. М. Антонович «Современная физиология и философия». «Современник», 1862, № 2. Д. Писарев «Физиологические эскизы Мошотта», «Процесс жизни» и «Прогресс в мире животных и растений».—«Русское слово»; Г. Благовостов «Переводы Карла Фогга».—«Русское слово», 1864, № 4. В. Зайцев «Естествознание и юстиция» и «Учение о пище, общепонятно изложенное Мошоттом».—«Русское слово», 1863, № 7, 8. А. Шапов «Естествознание и народная экономика».—«Русское слово», 1865, № 12. Н. Соловьев «Об отношении естествоведения к искусству» и «Труд и наслаждение».—«Отечественные записки», 1865, № 11, 12. Н. Страхов «Клод Бернар о методе опытов».—«Отечественные записки», 1866, № 9. Б. Эноз «Человек — простой или чувствующий автомат?» — «Отечественные записки», 1866, № 3, 4. М. Владиславлев «Современный материализм».—«Эпоха», 1865, № 1, Н. Страхов «Опыты изучения Фейербаха» и «Естественные науки и высшее образование».—«Эпоха», 1864, № 6, 7. Н. Страхов «Вещество по учению материалистов».—«Время», 1863, № 3. Н. Любимова «В чем дух естествоведения?» — «Русский вестник», 1867, № 1. П. Юркевич «Язык физиологов и психологов».—«Русский вестник», 1862, № 4, 5, 6, 8 и т. д.

Даже в художественных произведениях того времени возникает тип ученого-разночинца, строящего по научным принципам не только свою работу в лаборатории, но и свои взаимоотношения с окружающими людьми. Таковы Базаров, Лопухов, Кирсанов (о работах которого «самый Клод Бернар отзывался с восхищением»), герои А. Шеллер-Михайлова, Фон-Корен из чеховской «Дуэли». «Как ты думаешь об этих странных опытах искусственного произведения белковины?» — так начинает разговор с Кирсановым Лопухов об их обоюдной любви в Верочке.

Таким образом, гуманитарные притязания естествознания были в 60-е годы весьма широки. Отсюда становятся вполне понятными столь частые выпады на страницах Достоевского против «химии», «протоплазмы», «бернардов», «механиков» и пр. Достоевский отрицал как просветительские, так и философские возможности точной науки. Первые из них Достоевский отрицал потому, что им и его единомышленниками из «Эпохи» была тогда выдвинута собственная просветительская программа, требовавшая для народа не научно-материалистического, а духовно-религиозного образования. Главный же сарказм Достоевский направлял против попыток решать научными методами тайну человеческой природы, человеческого поведения и поступков. Вот, например, как отзывается о науке «широкая душа» Митенька Карамазов:

«Вообрази себе: это там, в нервах, в голове, то есть там в мозгу эти нервы (ну, черт их возьми)... есть такие этакie хвостики, у нервов этих хвостики, ну, и как только они там задрожат... то есть видишь, я посмотрю на что-нибудь глазами, и они задрожат, хвостики-то... а как задрожат, то и появляется образ, и не сейчас появляется, а там какое-то мгновение, секунда какая-то пройдет, и является такой будто бы момент, то есть не момент, — черт его дери момент, — а образ, то есть предмет или происшествие, — ну там черт дери — вот почему я и созерцаю, а потом мыслю... Потому что хвостики, а вовсе не потому, что у меня душа и что я сам какой-нибудь образ и подобие, это все глупости. Это, брат, мне Михаил еще вчера объяснил и меня точно обожгло...

...Химия, брат, химия. Нечего делать, ваше преподобие, подвиньтесь немного, химия идет!»<sup>7</sup>

«Химия», «хвостики» — этими презрительными отзывами именуются у Достоевского выводы современного ему естествознания. Он также выводит в «Идиоте» в образе медика Кислородова свой «вариант» упомянутого героя-рационалиста, адепта науки, и уже в самом выборе фамилии видно отношение к нему автора. В «Бесах» он с таким же сарказмом повествует о некоем поручике, который «в последнее время замечен был во многих странностях. Выбросил, например, из квартиры своей

<sup>7</sup> Ф. М. Достоевский. Собр. соч., Госиздат, М., 1956—1958, т. 9, стр. 101—102.

два хозяйские образа и один из них изрубил топором; в своей же комнате разложил на подставках, в виде трех налоев, сочинения Фохта, Мошотта и Бюхнера и пред каждым налеем зажигал церковные свечи»<sup>8</sup>. Кроме Бюхнера, Мошотта и Фогга, на страницах Достоевского, как уже говорилось, упоминаются Вагнер, Дарвин, Бокль, Спенсер и всегда в ироническом тоне. Возможно, и рассуждения героя «Крокодила»: «...Из крокодила теперь выйдет правда и свет... все это я постиг собственным умом и опытом, находясь, так сказать, в недрах природы, в ее реторте, прислушиваясь к биению сердца ее... Опровергну все и буду новый Фурье»<sup>9</sup>, — являются издевательским откликом на полемическое утверждение Писарева об общественной ценности лабораторно-медицинских опытов над животными, над «лягушкой».

Борьба против материалистической антропологии ведется Достоевским и на публицистическом фронте. Руководимые им журналы «Эпоха» и «Время» из номера в номер помещают статьи, направленные против материализма во всех его проявлениях, против естественных наук, против теорий Добролюбова, Чернышевского, Писарева. За это Писарев издевательски называл публицистов «Эпохи» Г. Аверкиева, Игдэва, Н. Страхова, Н. Соловьева «знаменитыми русскими натуралистами». Г. Аверкиев, например, «...доказывал, очень горячо и даже с некоторым озлоблением, что науку незачем популяризировать, и что таким делом могут заниматься только шарлатаны и верхогляды... Этот Г. Аверкиев... очень сердится за что-то на Карла Фохта, по-видимому за то, что Фохт не похож на Григорьева. Рассердившись на Фохта собственно с этой специальной стороны, Аверкиев утверждает, что популярные сочинения этого ученого по естественным наукам никуда не годятся; а вслед за тем, распаляясь еще больше да больше, Г. Аверкиев возмущает нас, что популяризировать науку очень даже глупо»<sup>10</sup>. Писарев имеет здесь в виду обширную статью Г. Аверкиева «Наши университетские отцы и дети», действительно содержавшую нападки не только на Карла Фохта, но и вообще на увлечение естественными науками: «Надо правду сказать, что таких поклонников естественных наук на Руси развелось великое множество. С ними просто нельзя разговаривать. «Ах, вы не были на естественном факультете!» — восклицают они... Эти господа пересыпают свою речь выражениями: «естественные науки доказали, натуралисты доказали, такой-то химик открыл», и вслед за этим сморозят такую чушь, что только руками разведешь: двести сорок пьявок Ноздрева перед их клеветой — детская шалость... Они... пляшут перед наукой, как дикие перед идолами»<sup>11</sup>. С такими

<sup>8</sup> Там же, т. 7, стр. 363.

<sup>9</sup> Там же.

<sup>10</sup> Д. И. Писарев. Сочинения..., т. 3, стр. 131.

<sup>11</sup> «Эпоха», 1864, № 1, стр. 328—329.

же обвинениями на материалистическую науку о человеке обрушивался Н. Страхов, который, признавая определенные права за прикладным материализмом, с тем большей непримиримостью нападал на материализм философский.

Если протесты Достоевского против материалистического просвещения народа были абсолютно несостоятельными и реакционными, то отрицание им этико-философских притязаний точных наук было во многом оправданным, ибо в целом попытки вывести формулу человека из его физической природы, а не из природы общества, разумеется, не могли выдержать подлинно философской критики. Сегодня социальная и антропологическая наивность утверждений В. Зайцева, что «если картофель отчасти довел Ирландию до ее изумительной наивности, то наше русское толокно в свою очередь участвовало в развитии апатии русского мужика»<sup>12</sup> совершенно очевидна, так же, как очевидна наивность Писарева, будто «пока яванцы будут питаться преимущественно рисом, а суринамские негры банановой мукой, до тех пор они будут подчинены голландцам»<sup>13</sup>. Если бы сарказм Достоевского ограничивался только подобными заявлениями, он был бы вполне оправдан. Действительно, высокомерная готовность точных наук того времени математически вычислить все сложности человеческой природы не могла не вызывать возражений. Однако даже в эпоху Достоевского естественнонаучная антропология состояла не из одних только издержек и крайностей, и в лице тех же Клода Бернара, Бюхнера, Боткина, Мечникова и других лучших естествоиспытателей 19 в. приносила знанию о человеке много действительно ценного. Что же касается «выходов» этой естественнонаучной антропологии в антропологию социальную, то и здесь следует подчеркнуть, что продолжали того же Бернара и Бюхнера в социологии умнейшие люди эпохи — Фейербах, Добролюбов, Чернышевский. Достоевский же отрицал и ставил под сомнение «человековедческие» возможности науки вообще.

Борьба Достоевского с материалистическим естественнонаучным знанием представляет в антропологической плоскости его мировоззрения как бы начальный этап в том более глубоком и общем споре, который он ведет с материалистическим подходом к человеку в целом и в процессе которого определяются философски и художественно его собственные взгляды на человека. Отличительной чертой материалистического подхода является строгая логическая последовательность, причинно-следственный рационализм, отсюда включение Достоевским в сферу своей критики методов естественнонаучной антропологии становится

<sup>12</sup> «Русское слово», 1863, № 8, стр. 57. (Цит. по кн. П. Г. Пустовойта. «Роман И. С. Тургенева «Отцы и дети» и идейная борьба 60-х годов 19 века». Изд. МГУ. М., 1965, стр. 18).

<sup>13</sup> Д. И. Писарев. Полн. собр. соч., СПб., т. I, стр. 288—289.

особенно понятным и оправданным. Отрицая рационалистическое, «эвклидово» познание человека, он неизбежно должен был с особой непримиримостью нападать на те формы этого познания, где упомянутые «эвклидовы» методы действовали всего нагляднее. И в этом смысле филиппики Дмитрия Карамазова против «химии», «протоплазмы», равно как и присутствие на страницах произведений Достоевского глубоко научных имен современности, вполне объяснимы стремлением разрушить самую «крайнюю» точку материалистической антропологии.

Особенности реализма Достоевского допускают и то, что они (именно) появляются на страницах именно **художественных** произведений. Разумеется, строгий реалистический вкус с трудом принимает образ скотопригоньевского обывателя, интересующегося Бернардом и наизусть цитирующего Шиллера. Но у Достоевского такие нарушения бытового правдоподобия возведены почти в принцип. Ему недостаточно того, что он самым объективным художественным бытием своих inferнальных героев опровергает враждебные ему концепции материалистической антропологии. То, что можно было бы ограничить рамками публицистической статьи или специальной дискуссии, Достоевский широко изливает и в свои художественные романы, в результате чего его образно-поэтическое слово с человеке и его сущности пронизывается пластами «чистой» философии, открыто формулируемыми антропологическими идеями эпохи и столь же открытым их обсуждением. Если при этом и происходят определенные потери по линии эстетической совершенности и правдоподобия образа, то взамен достигается редкая сила воздействия на нравственное чувство читателя, ибо книжная философия и Бюхнер цитируются у него не с профессорской кафедры, но, так сказать, языком, прерывающимся от ненависти или экстатического восторга, «мысль» романов Достоевского постоянно оборачивается их «страстью».

Может показаться странным, однако, что во многих местах у Достоевского подвергается таким же нападкам и произносится с таким же пренебрежением и «психология»: ведь писатель пользуется славой величайшего психолога, он сам пишет о себе как о знатоке «глубин души человеческой» и т. д.

Вопрос о психологизме Достоевского — один из самых сложных и противоречивых в его писательской индивидуальности, о чем говорит хотя бы тот факт, что в литературе о Достоевском и по сей день уживаются самые взаимоисключающие на этот счет мнения. Так же часто, как о психологе, о нем говорят как о нарушителе всякой психологической и жизненной правды. Нас интересует, однако, сейчас не художественная практика писателя, а то, почему он так пренебрежительно отзывался о психологии как форме антропологического знания.

Вопрос опять-таки в том, **какую** психологию подразумевал при этом Достоевский. Будучи, действительно, исследователем самых сокровен-

ных глубин человеческой души, он решительно противился тому, чтобы эти тайны и глубины вычислялись методами и приемами, почерпнутыми из точных наук, у той самой «химии» и «бернарвов», которые так возмущали широкую душу Митеньки Карамазова. Не отрицая в принципе мотивированности человеческих дел и поступков, он протестует против попыток устанавливать эту мотивированность с помощью «эвклидовой» причинно-следственной логики. «Законы духа человеческого еще столь загадочны, столь неизвестны науке, столь таинственны...», — пишет он в «Дневнике писателя»<sup>14</sup>. Итак, даже если **законы** человеческого духа и человеческой психологии и существуют, то они **еще** неизвестны, и каждый, кто торопится утверждать на этот счет что-либо определенное и положительное, тот обрекает себя на неизбежные ошибки. Есть, таким образом, психология и психология. Та психология, от которой отправляется Достоевский, основана на представлениях, совершенно противоположных картезианским.

Почему, например, Дмитрий Карамазов не убивает отца, хотя психологически преступление могло и даже **должно** было совершиться? В. Ермилов, дав безупречный психологический анализ поведения Дмитрия от момента поднятого на отца пестика до бегства через забор, доказывает, что фактически Дмитрий **убил**. То же, что в романе впоследствии оказывается, что это не так, Ермилов объясняет посторонней идеологической целью автора: желанием во чтобы то ни стало возбудить к Дмитрию читательские симпатии. Но именно применительно к Достоевскому такое объяснение не кажется единственно убедительным, потому что его психологизм тем и примечателен, что принципиально допускает возможность поступков, не мотивированных ни социальной, ни бытовой, ни даже эмоциональной ситуацией. Поэтому в случае с Дмитрием нельзя, как это делает Ермилов, идеологический просчет иллюстрировать психологическим. В системе психологических представлений Достоевского этот последний вообще не является просчетом, иначе пришлось бы назвать так половину психологических коллизий, возникающих в его произведениях. Дмитрий Карамазов **должен был** убить, но не убил, Раскольников, как отмечает Г. Бялый, должен был покончить самоубийством, но не покончил, а у Смердякова, наоборот, не было особых причин кончать самоубийством, но он повесился и т. д. Иногда еще эту «психологию наоборот» можно объяснить так: его герои делают то, чего делать не должны, именно чтобы доказать, что они вообще ничего не «должны» и ни от чего не зависят. Как мы помним, «маленький человек» Самсон Вырин у Пушкина все-таки нагибается за ассигнацией, брошенной ему за его отцовский позор, и в этом есть глубокая социально-психологическая правда; но «маленький человек»

---

<sup>14</sup> Ф. М. Достоевский. Полн. собр. соч.; СПб, т. 11, часть 1-ая, стр. 248.

Снегирев Достоевского, наоборот, приняв сначала у Алеши деньги, затем яростно их отшвыривает — именно потому, что его крайняя нищета, **социальная** психология этого типа требовала бы поступить именно по-бырински. Но часто у Достоевского и эта «мотивированность наоборот» отсутствует, как например, у фантастического алогиста Версилова, у которого каждый очередной поступок вообще никак нельзя психологически ни объяснить, ни предугадать, кроме разве того, что он обязательно будет противоречить предыдущему поступку. И здесь уже психология превращается в нарушение всякой психологии, в торжество психологического иррационализма. С одной стороны, Достоевский не отрицает определенного разумно-логического процента в человеческом поведении, не отрицает и определенной его социальной детерминированности, с другой же стороны, он решительно не может согласиться, что за пределами этого фактора ничего предопределяющего поведение человека не существует, и настаивает на существовании именно «запретельных» мотивов поведения. Г. А. Бялый верно отмечает, что в «Преступлении и наказании» имеются по крайней мере три равноправные версии относительно того, почему Раскольников не покончил самоубийством: по одной из них Раскольникова удержала трусость, по другой, совсем наоборот, гордость, по третьей — предчувствие будущего духовного перелома в своей жизни. И далее говорится, что «у Достоевского не всегда возможно предугадать, что в каждом случае определит поступок человека — сила обстоятельств или не зависящая от этой силы и враждебная ей внутренняя свобода»<sup>15</sup>.

Но последние слова могут обозначать только, что психологизм Достоевского внутренне противоречив и эклектичен. И другим он и не может быть, если собственные убеждения автора представляют собой позицию между психологическим детерминизмом и психологическим иррационализмом, если он **принципиально** отвергает существование какой-либо общей психологической нормы, «сознательно ее отрицает и всегда стремится нарушить ее»<sup>16</sup>. Причем особенно интересно, что и психологический иррационализм, если он начинает браться как норма, Достоевским отрицается. Он вкладывает, например, в уста Хохлаковой такую саркастическую характеристику психологического аффекта:

«Судебный аффект. Такой аффект, за который все прощают. Что бы ни сделали — вам сейчас простят... Сидит человек совсем не сумасшедший, только вдруг у него аффект. Это как новые суды открыли, так сейчас и узнали про аффект. Это благодетельные новые суды».

Далее Хохлакова уверяет Алешу, что «аффект» произошел не только с Дмитрием, но и со стариком Григорием. Это он, а не Дмитрий убил отца Карамазова, но тоже потому, что «получил аффект»:

<sup>15</sup> «Русская литература», 1968, № 4, стр. 47.

<sup>16</sup> Там же, стр. 37.

«Как Дмитрий Иванович ударил его по голове, он снулся и получил аффект, пошел и убил... А главное, кто же теперь не в аффекте, вы, я, все в аффекте, и сколько примеров: сидит человек, поет романс, вдруг ему что-нибудь не понравилось, взял пистолет и убил кого попало, а потом ему все прощают... Помилуйте, у меня Лизе в аффекте, я еще вчера от нее плакала, а сегодня и догадалась, что это у ней просто аффект»<sup>17</sup>.

Попутно в этом же монологе подвергается осмеянию вполне родственная Достоевскому идея о том, что «те, которые перенесли несчастье, лучше всех судят». Что же касается высмеиваемой здесь теории аффектов, то в большинстве случаев только с ее помощью можно объяснить те или иные поступки inferнальных героев писателя.

Но наиболее полно и непримиримо убеждение Достоевского в непредсказуемости человеческого поведения высказано в «Записках из подполья». Попытки отмежевать взгляды главного героя от взглядов самого автора всегда удаются лишь наполовину. Как конкретная личность, герой «Записок», безусловно, отвратителен, и было бы странно полагать, что он не представляется таковым и самому автору. Но как отвлеченный теоретик, он стоит с Достоевским во многом на одинаковых позициях, чему доказательством являются все последующие произведения писателя. «Записки из подполья» — пролегомены ко всему художественному творчеству Достоевского послекаторжного периода»<sup>18</sup>. Остается непонятным, для чего понадобилось Достоевскому выбирать рупором своих убеждений столь отталкивающую фигуру, придавать им такую «визжащую» интонацию, но это уже одна из психологических особенностей личности самого автора, которая убедительно никак не разгадывается.

Герой «Записок» отвергает вообще какую бы то ни было детерминированность человека: детерминированность физическими законами, социальными законами, собственным разумом и даже моралью. В том, что нравственные мотивы человеческого поведения неизмеримо могущественнее его разумного обоснования, в этом Достоевский не сомневался, но в рассуждениях героя «Записок» и нравственность оказывается в свою очередь безоружной перед силой свободного и анархического хотения. И мы видим, что собственно художественная антропология человеческих образов Достоевского вполне соответствует этой теоретической предпосылке. Как пишет Б. Бурсов, «почти все любимые герои Достоевского совмещают преданность возвышенным идеалам с готовностью к самым тяжким преступлениям»<sup>19</sup>. Действительно, способность полностью «детерминировать», растворять себя в какой-либо

<sup>17</sup> Ф. М. Достоевский. Собр. соч., Госиздат, М., 1956—1958, т. 10, стр. 87—88.

<sup>18</sup> А. С. Долинин. Последние романы Достоевского. М.—Л., 1963, стр. 230.

<sup>19</sup> «Звезда», 1965, № 8, стр. 183.

идею парадоксальным образом уживается в них с анархической склонностью к постулкам, противоречащим, как было сказано, и здравому смыслу, и логике ситуации, и их собственной логике. Стоит им утвердиться в каком-нибудь мнении, стать на какую-нибудь позицию, как его сразу же начинают мучить подозрения, не ограничивает ли это его драгоценную свободу, из фанатического адепта идеи он может в любую минуту превратиться в ее отступника. «Надобно мысль разрешить» — этот его лозунг постоянно сталкивается с не менее программным «обязан своеволие заявить».

Подводя итоги сказанному в статье, можно утверждать, что собственные взгляды Достоевского на человека в значительной мере реализуются через спор с естественнонаучным рационализмом. В этом споре отразились одновременно и достоинства и недостатки антропологических взглядов. С одной стороны, он как бы нейтрализовал собственными крайностями крайности материалистической антропологии 19 в., выражавшиеся, например, в том, что человеческая личность вообще лишалась какой бы то ни было ответственности за свои поступки на том основании, что не она сама, а довлеющие над ней объективные силы ее материального и физического бытия предопределяют каждое мельчайшее ее движение. Достоевский же показал и во многих случаях убедительно доказал способность личности даже в самых жестких материальных обстоятельствах жизни идти наперекор своей материальной детерминированности. Несомненно, он намного глубже материалистов своего времени чувствовал исключительность, автономность положения человека в окружающем его мире. Но он очень часто эту автономию фетишизировал, выводил человеческое поведение за рамки вообще какой бы то ни было обусловленности и, тем самым, фактически оспаривал возможность точного позитивного познания свойств человеческой личности.

Ноябрь, 1969

Шяуляйский пединститут

## APIE VIENĄ ŽMOGAUS PROBLEMOS ETINĘ-FILOSOFINĘ PRIELAIĄĄ VĖLESNĖJĘ DOSTOJEVSKIO KŪRYBOJĘ

V. SERDIUCENKA

### Re z i u m ė

Siame straipsnyje išaiškinamas vienas iš istorinių-filosofinių Dostojevskio antropologinės problematikos adresų.

Rašytojas, problemiška žiūrėdamas į žmogų kaip į susidūrimą lygių (pagal jėgą ir išsivystymą) idėjų, įjungia į jas ir gamtamokslinės antro-

pologijos išvadas, kurios, kaip žinoma, XVIII—XIX t. a. bandė priaugti iki socialinės antropologijos.

Dostojevskio kova su materialistiniu mokslu jo pasaulėžiūros antropologinėje plokštumoje sudaro pradinį etapą tame bendrame ir giliame ginče, kurį rašytojas veda su racionalistiniu požiūriu žvilgsnyje į žmogų aplamai, šio ginčo procese filosofškai ir meniškai realizuojasi jo asmeninis požiūris į žmogų.

## **ABOUT ONE ETHIC-PHILOSOPHIC PREMISE TO THE PROBLEM OF MAN IN DOSTOJEVSKY'S LATE WORKS**

V. SERDUCHENKO

### **S u m m a r y**

This article deals with one of Dostojevsky's historical and philosophical views, some of his anthropological problems. He identifies the problem of man with the collision of two phenomena of the same strength and development. Here the writer includes his natural scientific conclusions of anthropology, which in the 18th-19th centuries seemed to be social. This struggle of Dostojevsky with materialist and natural-scientific knowledge in anthropological sphere of his philosophy of life is his first step in one of the most essential and general discussions, which he conducts in rationalist approach to man on the whole. In the process of this discussion one can point out Dostojevsky's philosophical and artistic views on man.